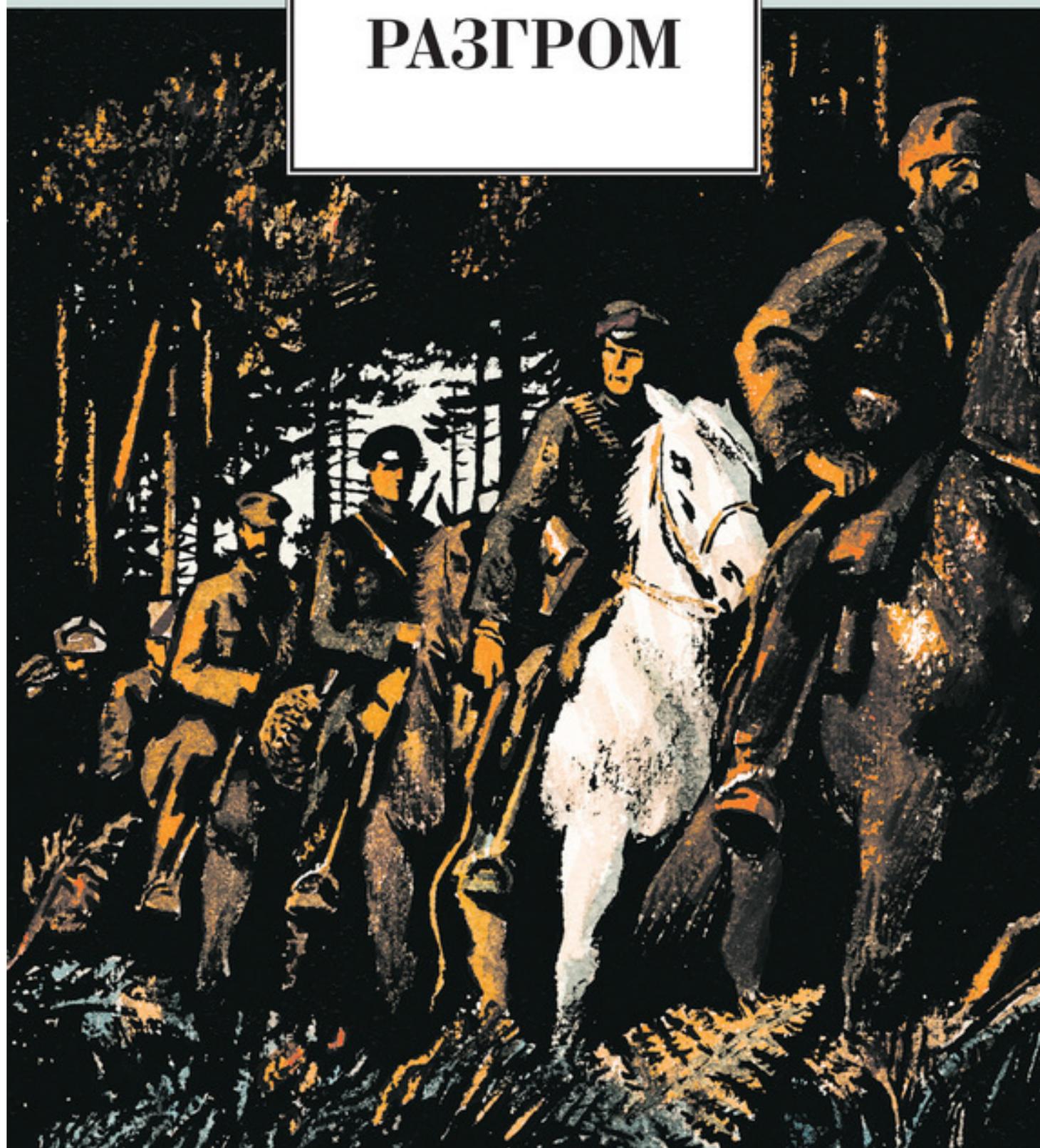


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Александр Фадеев

РАЗГРОМ



Школьная библиотека (Детская литература)

Александр Фадеев

Разгром

Издательство «Детская литература»

1927

УДК 820/89-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Фадеев А. А.

Разгром / А. А. Фадеев — Издательство «Детская литература», 1927 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 5-08-003993-0

Широкую известность Александру Фадееву принёс роман «Разгром» (1927) и одноименный фильм, выпущенный на экраны в 1931 г., о партизанской войне на Дальнем Востоке. В своем произведении Фадеев рисует реальную жизнь, сосредоточив внимание на истории духовного роста людей, формирования характеров. В образе Левинсона Фадеев подчёркивает высоту коммунистического сознания.

УДК 820/89-93-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 5-08-003993-0

© Фадеев А. А., 1927
© Издательство «Детская литература», 1927

Содержание

Человек в экстремальных обстоятельствах	7
Разгром	16
I. Морозка	17
II. Мечик	22
III. Шестое чувство	27
IV. Один	31
V. Мужики и «угольное племя»	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Александр Александрович Фадеев

Разгром

© Издательство «Детская литература». 2001

© И. М. Дубровина. Вступительная статья, 2001.

© О. Г. Верейский. Рисунки, наследники.

* * *



А. Фадеев

1901–1956

Человек в экстремальных обстоятельствах

Александр Александрович Фадеев (1901–1956) относится к числу самых заметных и вместе с тем противоречивых фигур литературного процесса советских лет.

Юность его прошла на Дальнем Востоке, где он участвовал в партизанской борьбе. События этих лет отражены в рассказе «Против течения» (1923), в повести «Разлив» (1924), романе «Разгром» (1927) и неоконченной эпопее «Последний из удэге» (1929–1940). В 1945 году писатель публикует роман на документальной основе «Молодая гвардия» о юных героях-антифашистах города Краснодона (вторая редакция – 1951).

А. А. Фадеев являлся также руководителем литературных организаций, автором теоретических и критических статей. Эта его деятельность была сложной и неоднозначной. Заботясь о создании высокой литературы, он в то же время испытал на себе влияние официальных установок и зловещей практики сталинской поры. Не найдя выхода из трагического тупика, писатель покончил с собой в 1956 году.

* * *

«Разгром» – одна из самых известных книг Фадеева.

Произведения о людях гражданской войны, да и сами события гражданской войны вызывают в последнее время резкие споры. С одной стороны – полный пересмотр вчерашних оценок. С другой стороны – стремление сохранить, тщательно сберечь то ценное, что оставило время, несмотря на всю его сложность. Думается, дискуссии эти еще не закончены.

Во всяком случае, нужно иметь в виду два обстоятельства.

Первое. Книги, выражающие точку зрения участников событий, как бы к этой точке зрения ни относились следующие поколения, важны уже тем, что они являются живым свидетельством определенных общественных отношений своей поры.

И второе. Даже в самые суровые и противоречивые эпохи люди находят и создают нечто светлое, гуманное, сохраняющее свое общечеловеческое значение, что не может не отразиться в произведениях серьезного талантливого художника.

Когда у А. Фадеева родился замысел книги «Разгром», в памяти писателя были еще свежи события гражданской войны на Дальнем Востоке, в которой он активно участвовал. «Основные наброски этой темы появились в моем сознании еще в 1921–1922 годах», – сообщал Фадеев. Отдельным изданием произведение вышло в 1927 году и сразу вызвало острейшую дискуссию.

Многими литераторами книга была высоко оценена. Писали, что «Разгром» «открывает поистине новую страницу нашей литературы», что в нем найдены «основные типы нашей эпохи», относили роман к числу книг, «дающих широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны», подчеркивали, что «Разгром» показал, «какую крупную и серьезную силу имеет наша литература в Фадееве».

Фадеевский подход к действительности многими в литературных кругах был принят. Многими – но не всеми. Полемику вызвала сама суть художественных принципов писателя. Речь шла не только непосредственно о «Разгроме», но и о перспективах дальнейшего развития нашей литературы.

Если сейчас говорят, что в той или другой книге удачно изображен внутренний мир героев, их психология, то все мы воспринимаем такое заявление как признание заслуг писателя. В годы же, когда впервые появился «Разгром» Фадеева, критики в рецензиях отмечали реалистическое изображение психологии героев, их душевных конфликтов и... именно это

ставили в упрек автору. В одной из статей говорилось, что психологизм в литературе совсем не нужен и его надо заменить описанием документальных фактов, то есть «производством нужных классу и человечеству ценностей (вещей)». А другой критик в рецензии, посвященной «Разгрому», категорически утверждал, что задача литературы – «давать не людей, а дело, описывать не людей, а дело, заинтересовывать не людьми, а делами». «Человек для нас ценен не тем, что он переживает, а тем, что он делает». Неправомерность такого противопоставления тогда далеко не для всех была очевидной.

Само по себе реалистическое исследование психологии людей не было, конечно, открытием Фадеева. Советская литература получила в наследство от литературной классики гениальные образцы художественного исследования диалектики человеческой души. И если бы Фадеева критиковали только за то, что иногда его интонации в чем-то слишком уж повторяли интонации Льва Толстого (как в других случаях – интонации раннего Горького), то с этим, пожалуй, и не стоило бы спорить. Но в упрек писателю ставили вовсе не чересчур прилежное следование отдельным чертам стиля классиков, их манере. Нет, некоторые критики в принципе отвергали всякий психологизм.

Фадееву вовсе не была чужда задача «описывать дела», «заинтересовывать делами» – деяниями его эпохи, борьбой народа. Но это ни в коей мере не противоречило вниманию к отдельному человеку и к «тому, что он переживает».

Именно в человеке, в личности, в создании условий для наибольшего расцвета индивидуальности каждого из миллионов Фадеев видел успех общего дела.

Защитникам такого искусства, где нет отдельных героев, а существует лишь единый гигантский «вещественный» герой, какая-нибудь отрасль труда, продукт человеческой работы, казалось, что развитие личности, культивирование внимания к тончайшим оттенкам чувств человека грозит индивидуализмом, противостоит вниманию к обществу, вредно для общества, антисоциально. На самом же деле чем глубже, интереснее, многограннее, талантливее человек, личность, индивидуальность, чем больше внимания уделяется всестороннему развитию индивидуальных качеств личности, тем нужнее она обществу, тем интереснее она всем остальным, тем больше она может дать человечеству, иначе говоря – тем «социальнее» эта личность. И в то же время для нее самой важна связь с обществом: чем больше нитей связывает человека с другими людьми, помогающими ему и поддерживающими его, тем его личность будет богаче и сильнее, тем свободнее человек будет ориентироваться и действовать в окружающем его мире.

Актуальность проблематики «Разгрома» с годами не теряет остроты. Она противостоит как анархической трактовке «свободной личности», попирающей законы общества, так и казарменно-уравнительному подходу к массам, стремлению прикрыть фразами о революционном деле пренебрежение к человеку.

Образная система «Разгрома» определена прежде всего соотношением, связью, слитностью двух моментов: с одной стороны, автору романа свойственно глубокое внимание к формированию и выявлению качеств характера отдельного человека, с другой – умение увидеть в этих частных изменениях, порой незаметных движениях души свойства эпохи, увидеть связь частного и общего, личности и массы. Причем большие обобщающие идеи о человеке и массе выражены в небольшом по объему произведении – очень емко и чрезвычайно компактно. Партизанский отряд рассматривается Фадеевым отнюдь не как механическое соединение отдельных человеческих песчинок, а как сложное и своеобразное единство интереснейших индивидуальностей. В произведении нет какого-либо одного главного драматического события, одного конфликта, который бы цементировал сюжет всей книги. Здесь драматизм – психологический: судьба отряда раскрывается не столько во внешних, сколько во внутренних, психологических столкновениях и сопоставлениях его бойцов.

Вспомнимся в героев «Разгрома» и в его сюжет.

Один из главных героев «Разгрома», партизанский командир Левинсон, так формулирует для себя первоочередную задачу: сохранить свой отряд как боевую единицу. Читатель, однако, видит, что конечная цель усилий героев, их борьбы – не только в этом. Да и у Левинсона, кроме задачи военной, есть еще и программа-максимум, связанная с его жаждой нового, прекрасного, сильного и доброго человека, хотя ему не всегда удается до конца выразить ее: «...Он чувствовал, что нужно было говорить о чем-то другом более основном и изначальном, к чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже осмысленного и решительного действия».

Описание отряда в целом, всех его людей вместе, становится в «Разгроме» своеобразным сюжетообразующим стержнем.

Автор словно оставляет нас с глазу на глаз то с одним, то с другим человеком, но в то же время повествование не превращается в цикл рассказов об отдельных героях.

Именами основных героев, состоящих в одном партизанском отряде, Фадеев назвал главы своей книги. Самая первая из них называется «Морозка», есть глава «Левинсон», есть – «Мечик», есть глава о Метелице. Именно на этих четырех действующих лицах и сосредоточено больше всего внимание писателя. И все же ни один из героев, психология которых чрезвычайно важна автору, не становится единственно важным в развитии сюжета произведения, ни один из них не определяет сам по себе движения фабулы. Более того, даже если взять всех главных героев вместе, то и тогда мы не сможем еще по ним судить о том, что становится основой сюжета «Разгрома». Потому что самое важное в общем движении действия – судьба всего коллектива людей, судьба партизанского отряда. Именно процесс жизни всего отряда и конечный итог его борьбы становится главной пружиной развития повествования.

Кто же они, герои «Разгрома», люди далекого от нынешнего читателя времени – времени великих потрясений жизненных устоев, времени «неслыханных перемен, невиданных мятежей»? Один за другим проходит перед нами вереница лиц – взглянемся в них внимательнее.

Вот разведчик партизанского отряда Метелица. Весь «огонь и движение». Судьба Метелицы, его характер захватывают автора и заставляют его погрузиться в переживания героя.

Метелица идет в разведку. Что его ждет? С кем он встретится? Ничего не известно. Читатель «Разгрома» напряженно следит за поступками этого человека, горячая голова которого «не боится больших пространств и не лишена военной сметки».

Глава называется «Разведка Метелицы», и сам стиль повествования как бы передает дух разведки, с характерным для нее ощущением постоянной смертельной опасности. Фадеев смотрит на жизнь глазами своего героя, и психология героя становится нам близкой и понятной. Из всех обстоятельств, неожиданно-негаданно встающих перед ним, разведчику нужно сделать верные выводы, безошибочно определить, как надо действовать. Нервы его натянуты до предела.

Автор и окружающую природу видит глазами разведчика. Вот он смотрит на сопки, густо чернеющие «на фоне неласкового звездного неба», и совершенно естественно воспринимается это необычное сочетание: небо звездное – и одновременно «неласковое». Именно для разведчика звездное небо вдруг оказывается «неласковым», ведь при ясном небе разведчика легко обнаружить.

Проникновение автора в мысли и чувства героя максимально приближает героя к нам. Но проникновение в психологию одного человека связано, как мы увидим, с размышлениями автора о судьбе и других людей отряда: описание подвига Метелицы органически сплелось с описанием жизни отряда.

В главе «Разведка Метелицы» есть, казалось бы, все элементы композиции, свойственные законченному самостоятельному произведению. В ней есть экспозиция, знакомство с обстановкой: Метелица осматривает местность, встречается с пастушонком. В ней есть завязка действия: разведчик, пробравшись к штабу белоказаков, подслушивает у окна разговор офицеров. Затем напряжение нарастает, ощущение опасности усиливается: глаза героя встречаются через окно с глазами офицера. И наступает первый кульминационный момент: герой сталкивается «лицом к лицу с человеком в казачьей шинели». В развязке этого эпизода Метелицу поймали.

И тем не менее глава «Разведка Метелицы» не становится отдельным рассказом. Уже само ее окончание как бы прокладывает дорогу к новым главам: перед нами возникает весь партизанский отряд, мы видим «истомившихся партизан», дневального, Бакланова, Левинсона и других. Эта часть главы проникнута драматизмом напряженного ожидания: что с Метелицей, как пройдет его разведка? Никто не хочет поверить, что Метелица попал в руки врага. Изображение действий Метелицы и последующее изображение отряда, тревожно думающего об этом человеке, делает главу целостной и в то же время включенной в общую сюжетную линию, а ею является история отряда, история его жизни, внутренних его конфликтов и столкновений с врагом.

Судьба главного героя этой главы еще не решена в ней. В следующей главе – «Три смерти» – вторая, наиболее важная, героическая и трагическая кульминация, а также и развязка этой истории. Избитого, с лицом, вымазанным кровью, Метелицу вывели на церковную площадь, полную народа, оцепленного со всех сторон конными казаками; к нему вытолкнули пастушонка, чтобы он опознал Метелицу, но мальчик не захотел выдать его, и тогда начальник белого эскадрона решил допросить маленького пастушонка «по-своему». Напряжение нарастает. «В то же мгновенье чье-то стремительное и гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем, – начальник эскадрона упал, сбитый сильным толчком». Это Метелица бросился на спасение пастушонка.

Главы, рисующие судьбу этого героя, стоят в композиции «Разгрома» несколько особняком. Так случилось потому, что сначала Метелица был задуман как «самая десятистепенная фигура»; только в процессе работы над книгой писатель увидел необходимость укрупнить эту фигуру, и Метелица выдвинулся в число основных героев. «Если бы я придумал это раньше, – объяснял Фадеев, – я уже в первых частях романа остановился бы больше на образе Метелицы. Перестраивать все заново уже было поздно, и поэтому эпизод с Метелицей в начале третьей части резко выделился, несколько нарушив гармоничность произведения».

Преимущественное внимание к одному герою, прорвавшееся здесь неожиданно для самого писателя, приобретает особый интерес для современного читателя: речь идет о самоценности человеческой личности.

Одной из самых сложных и противоречивых фигур в «Разгrome» является Левинсон, командир отряда.

В Левинсоне, по мысли Фадеева, фокусируются многие лучшие, самые перспективные и самые достойные черты нового человека.

Он чуть ли не единственный из героев книги, позицию которого всегда разделяет автор, как бы ни подчеркивалась сугубая объективность изложения. Если в отношении к другим героям мы то и дело встречаем иронию, насмешку или добродушную улыбку, то по отношению к Левинсону этого нет нигде. Здесь повествователь и герой ровень друг другу, а иногда автор смотрит на Левинсона даже как на старшего, как на учителя. Для него Левинсон всегда прав, даже тогда, когда Фадееву, как видно, нелегко принять решение героя, например, в случае с гибелью раненого Фролова. Да и вправду, может ли человек, какой бы полнотой власти он ни обладал, решить за другого человека, способного мыслить и делать выбор,

вопрос его жизни и смерти? Вправе ли Левинсон это сделать в данном случае? Ведь каким бы безнадежным ни казалось положение больного, кто может сказать, что не осталось ни одного шанса из тысячи, из миллиона? Не поставить эту проблему Фадеев не может. Но он гонит от себя сомнения, отдает их отрицательному герою, а сам, как и везде, соглашается с решением Левинсона. Точки отсчета в отношении к революции были да и остаются разными и даже диаметрально противоположными. Александр Фадеев был убежден в том, что революция поможет создать общество справедливости. Исходя из этой уверенности, он и оценивал своих героев. Поэтому ему казалось, что Левинсон совершает только правильные поступки.

Будучи беспредельно преданным революции, Левинсон ради нее, когда нужно, ограничивает, сдерживает других, а в первую очередь себя самого. Он сознательно подавляет те свои личные чувства, которые могли бы отвлечь его от добровольно принятой на себя миссии; чувства эти охватывают его лишь в краткие моменты ночного затишья, когда он может вспомнить о письме жены и ответить ей. Все остальное время – он именно командир, которому люди «передоверили самую важную свою заботу», они обязали его думать о них и об этой заботе больше, чем о том, что ему самому «тоже нужно есть и спать». В этом самоотречении – сила героя. Однако в этом же – известная неполнота, ограниченность проявления души таких людей, и писатель, которому так важно было раскрытие личности, видел это.

Как говорил сам писатель, «для полноты изображения идеального характера потребовался такой образ, который воплотил бы в себе черты, отсутствующие в Левинсоне, который дополнил бы Левинсона... Если бы Левинсон имел вдобавок к имеющимся у него качествам и качества характера Метелицы, он был бы идеальным человеком».

Одна из драматичнейших глав «Разгрома» – «Трясина». В ней обрисованы очень сложные взаимоотношения партизанского командира и отряда. Партизан Левинсона по пятам преследуют враги – «их там несметная сила». Отряд уходит в тайгу, но вдруг оказывается, что дальше идти некуда: впереди трясина.

В этот тяжелейший момент масса людей и их руководитель неожиданно становятся противопоставленными друг другу: «Если бы они могли сейчас видеть его все разом, они обрушились бы на него со всей силой своего страха, – пускай он выводит их отсюда, если он сумел их завести!»

Но все дело в том, что эта враждебность, это непонимание отнюдь не взаимны: для Левинсона эти люди «ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что... он чем-то обязан перед ними». Обязан – ибо выражение их общего, определяющего, ведущего интереса составило смысл и пафос его жизни. Левинсон как бы отсекает в себе все остальное, поэтому его не обескураживает вспыхнувшая вражда к нему партизан – он попросту не замечает ее, отменяет, отсекает. Он только чувствует свои права и обязанности командира. Именно ответственность за отряд дает Левинсону особое озарение, возможность найти дерзновенное решение – проложить через болото гать – и воодушевить всех этим решением, превратить «людское месиво» в сознательный работающий отряд и снова стать подлинным командиром тех людей, которые только что были столь недружелюбны к нему.

Дар завоевывать уважение людей, свойственный Левинсону, проявляется по-разному – в зависимости от того, что за человек перед ним. Дубов, Сташинский, Гончаренко знают, каких усилий стоит Левинсону преодолеть свои собственные колебания, принять то или другое решение. Они уважают его за умение найти выход из собственных мучительных сомнений. Большинство же партизан вообще не подозревают об этих его колебаниях. Он поэтому кажется им «человеком особой, правильной породы», который «все понимает», все делает, как нужно. Они стремятся быть похожими на него. Юный Бакланов, например, перенимает даже внешние манеры командира.

Однако было бы упрощением говорить только о влиянии Левинсона на окружающих. Потому что на самом деле в «Разгроме» раскрыто не одностороннее воздействие, а взаимовлияние. В финальной главе это становится особенно ощутимым. Больному и предельно усталому Левинсону, все силы отдавшему вызволению отряда из трясины, казалось, что «он... не мог уже ничего сделать» для партизан, для «измученных верных людей», казалось, «он уже не руководил ими». И вдруг все услышали выстрелы. Они прозвучали совершенно неожиданно и казались просто невозможными. Левинсон смог лишь беспомощно оглянуться. Что-то будет с отрядом, потерявшим руководство?

В этот момент Левинсон увидел наивное, мальчишеское скуластое лицо Бакланова, горевшее «той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда».

Вдохновение молодого партизана передается командиру. Уже не Бакланов на него равняется, а он, Левинсон, на этого юношу: «На прорыв, да? – хрипло спросил он у Бакланова». Левинсон поднял сверкнувшую на солнце шашку, и весь отряд вздрогнул и поднялся, глядя на своего командира. «Бакланов... круто обернулся к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое, чего Левинсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение, подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставила его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним». Так уже Бакланов воодушевляет Левинсона.

И в Метелице «била... неиссякаемым ключом» «необыкновенная физическая цепкость, животная, жизненная сила», «которой самому Левинсону так не хватало». Оттого Левинсон и испытывал «к этому человеку смутное влечение». Гибкий, стройный богатырь Метелица и внешне абсолютно не похож на Левинсона – маленького, тщедушного, «похожего на гнома», «с рыжей, длинным клином, бородой». Это различие портретных черт усиливает ощущение разницы в их отношении к жизни, в самом их мироощущении. Метелица живет так, как ему хочется, не ограничивая себя, не сдерживая свой размах, «слишком смелый полет... самостоятельной мысли». Эту слишком смелую стратегическую мысль Метелицы сдерживает, должен сдерживать командир отряда – Левинсон. Именно он, воспользовавшись жаркими прениями, незаметно подменил военный план Метелицы своим «более простым и осторожным». Левинсон обязан это делать: он ответствен за всех, он не может подвергать людей неоправданному риску.

Фадеев, таким образом, соотносит, связывает личное и общее, в центре его внимания, с одной стороны, естественность, порыв, раскованность и, с другой, – сознательное ограничение и самоограничение. Каждое из этих свойств является дополнением другого.

Весьма своеобразно, в движении, властно продиктованном развитием исторических событий, раскрывается соотношение этих качеств характера в сюжетной линии взаимоотношений Левинсона с другим героем – его ординарцем Морозкой.

У этого героя нет тех достоинств, которыми наделен Метелица, но и он тоже абсолютно естествен в каждом поступке, раскован в своем поведении. Но эта раскованность граничит порой с бесшабашностью, близкой к хулиганству.

Вот Морозка, «приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке выпрямленным корпусом», плавно идет на рысях перед крестьянами, и автор разделяет здесь их восхищение всадником. Не случайно в его собственную речь переходит выражение крестьян «как свечечка». Он тоже с любовью следит за Морозкой, который едет по долине, «чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи».

И буквально сразу же, через один абзац, перед нами уже совсем другой Морозка. Уже ничего не осталось от его гордой посадки. Мы видим, как он, «воровато оглядевшись», обрвал чужие дыни, как побежал к лошади, «трусливо вбирая голову в плечи».

Разными гранями оборачивается естественность Морозкиной натуры. В начале книги перед нами – разленившийся ординарец. Ему не хочется выполнять приказы, ему «надоели скучные казенные разъезды» и «никому не нужные» – так ему казалось – пакеты. Ни деловой собранности, ни раздумий, ни усилий воли. Недаром герой тут сопоставлен с его собственным конем, который «походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив».

Морозка здесь полностью погружен в таежную летнюю дрему, он сам становится как бы частью благодной, разморенной солнцем природы. В отряде все спокойно, кругом плывет «сытая таежная тишина», «окутанная смоляными запахами». Ощущение зноя то и дело проступает во множестве деталей: парнишка, караулящий овес, – «осоловелый» от жары, полыни в амбаре – «обомлевшие», воздух, в котором слышны лишь кузнечики, – «раскаленный», травы под крестьянской косой – «пахучие» и «ленивые». Все это создает вначале полнейшее ощущение покоя, столь естественно впитываемое героем.

Но это не весь Морозка. Столь же естественно для него и другое состояние. Когда взрывается сражениями таежная дрема, тогда – в схватках – Морозка становится иным, и тут с его обликом связаны довольно редкие в «Разгроме» патетико-романтические ноты. В одном бою Морозка летит, «распластавшись, как птица», в другом Фадеев его видит в образе какого-то легендарного всадника: «Смутным впечатлением этого дня осталась еще фигура Морозки на оскаленном жеребце с развевающейся огненной гривой, промчавшаяся так быстро, что трудно было отличить, где кончался Морозка и начиналась лошадь». И до этого автор словно видит перед собою чудо-героя: перед Морозкой, «как в сказке», предстал конь, лишь только услышал его молодецкий посвист.

Левинсон ценит эти «молодецкие» качества характера Морозки – лихость и безоглядность. Сдерживая и пресекая Морозкино своеволие, он не только не желает разрушить вольное отношение к жизни этого человека, но, наоборот, направляет его естественные, действительно свободные стремления в верное русло, старается развить все лучшее в нем.

Сцена суда над Морозкой – одна из напряженнейших в романе. Именно Левинсон устроил этот страшный для Морозки суд, и он же умно и незаметно снял нависшую над Морозкой опасность изгнания из отряда. Левинсон все время действует строго по плану. Морозка же, который «все делал необдуманно», испытывает результаты действий командира, сам того не замечая.

Непутевый и недисциплинированный боец мог «шкодить», мог напускать на себя «неприступно-наглое выражение» именно тогда, когда чувствовал себя неправым, мог трусливо размякнуть, когда у него отбирали оружие. Но вот он понимает, что его действительно могут выгнать из отряда. И он произносит клятву – неумело, трудно, «стыдясь перед мужиками»: «Да разве б я... сделал такое... ну, дыни эти самые... ежели б подумал... да разве же я... братцы!.. – вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влажным... – Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..»

За Морозкиной ораторской беспомощностью стоит такая преданность товарищам, в которую не поверить невозможно.

И эта преданность товарищам, без которых он не мог представить самого себя, которых он «ярко чувствовал... в себе», – тоже совершенно органична для него, совершенно естественна.

Сами события заставляют его более зрело относиться к жизни. И когда он понимает, что Левинсон прав в своих требованиях к нему, тогда в его жизни появляется нечто новое: он находит силы отказаться от многих своих привычных желаний. Например, ему очень хотелось на переправе «попугать» для смеху и без того испуганных слухами о японцах крестьян. Но он, наоборот, стал помогать им, по собственной инициативе прекратил сумя-

тицу у парома, разоблачил панические слухи, организовал переправу. И оказалось, что отказ от обычного озорства вдруг доставил ему столь же естественную радость, какую раньше доставляло шалопайство. Морозка радуется победам над собственным разгильдяйством, радуется, когда может помочь другим людям, и от этого чувствует себя «большим, ответственным человеком».

Если характер Морозки в ряде эпизодов выражает психологию массы со всеми ее недостатками, то индивидуальность Мечика, еще одного из центральных персонажей «Разгрома», наоборот, предстает как бы дистиллированной, внутренне чуждой интересам общества, оторванной от него. В результате Мечик губит не только товарищей, но и себя как личность.

Коренная разница между ними в том, что у Морозки, в отличие от Мечика, мы видим перспективу преодоления своих слабостей. Предательство Мечика в последней главе и подвиг Морозки во имя товарищей окончательно разделили этих двух героев, раскрыв их глубокую противоположность друг другу.

Фадеев противопоставляет их в те «решающие моменты борьбы», которые словно перечеркивают и возникшее было сначала чувство симпатии к Мечику, и критическое отношение к отрицательным проявлениям характера Морозки. Писатель оценивает не столько отдельные человеческие качества, сколько личности в целом: лучше уж человек «с огромными недостатками», но преданный товариществу, чем какой-нибудь индивидуум, до поры до времени «моральный», но способный в трудную минуту растеряться, всех подвести и погубить.

Мечик постоянно отделяет себя от других и противопоставляет себя всем окружающим, в том числе и наиболее близким из них – Чижу, Пике, Варе. Его желания почти стерильно очищены от внутренней подчиненности всему тому, что кажется ему некрасивым, с чем мирятся и что принимают как должное многие вокруг. Фадеев поначалу сочувственно подчеркивает это стремление к чистоте и независимости, это самоуважение, стремление сохранить свою личность, мечту о романтическом подвиге и прекрасной любви. Но то, что могло бы стать в Мечике наиболее ценным, начисто исчезает у него в сложностях реальной жизни. Он не в состоянии быть личностью, быть верным самому себе. В результате ничего не остается от его идеалов: ни столь желанного благородного подвига, ни чистой любви к женщине, ни благодарности за спасение.

Трусость, возможность предательства читатель может заметить в Мечике рано. Вот он в госпитале показывает медсестре Варе фотографию любимой девушки. В это время появляется Морозка – муж Вари. Она, испугавшись, роняет карточку и потом, забыв о ней, наступает на нее ногой. А Мечику, который чувствует себя «как пришибленный», даже стыдно попросить, чтобы карточку подняли. Казалось бы, мелочь. Но так, сначала по мелочам, а потом и в главном, он предал свои собственные чувства. Не здесь ли начало его пути к страшной развязке, к моральному краху?

На Мечика никто не в состоянии положиться, он всех может подвести. Вот он мечтает о Варе, представляет себе, как она «говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будут совсем золотые, как полдень». Он понимает, что Варя действительно любит его, а не Морозку, однако с приближением Морозки все вдруг меняется. Радость внезапно улетучивается, и Мечик смотрит на Морозку «малодушными, уходящими внутрь глазами». Мечик стыдится любви Вари, боится кому-либо показать свою нежность к ней и в конце концов грубо отталкивает ее. Так из-за слабости и трусости совершается еще один шаг по дороге предательства. И все позорно заканчивается двойным предательством: не сделав сигнальных выстрелов и сбежав с дозора, Мечик обрекает на гибель и своего спасителя Морозку, и весь отряд партизан. За конкретными судьбами людей в «Разгроме» открываются глубокие веч-

ные нравственные проблемы: гуманизма, героического подвига, отношения к трусости и подлости, проблема выбора в экстремальной ситуации.

Но и другие писатели – современники и очевидцы тех же исторических событий – тоже ставят в своих произведениях (каждый по-своему!) вопросы общечеловеческих вечных ценностей. Причем независимо от их политических взглядов, их отношения к революции и оценки ее! Это уже стало совершенно ясным в наше постсоветское время.

Об одной из таких важных ценностей повествует, например, «Чевенгур» Андрея Платонова. Видя объективно существующее разделение людей на непримиримые сообщества, видя глубинные причины классовой ненависти с обеих сторон, писатель постоянно, неутомимо, всем ходом своего романа ведет поиски гуманности, поиски «спасения людей... взаимной душевной лютости». Раскрывая в образности «Чевенгура» психологию множества героев, Платонов убеждает в самоценности каждой личности, доказывает, сколь губительна вражда людей из-за их принадлежности к разным политическим лагерям. Многоплановый и многогеройный роман предостерегает: нельзя в пылу классовой борьбы разрушать естественные «природные силы», связующие в одно целое все человеческое общежитие.

Проведем параллели с произведениями других писателей. И. Бабель в «Конармии», видя перед собой «летопись будничных злодеяний», тоже предостерегает от того, чтобы «людская жестокость» не стала «неистребимой». Вспомним также мысли героя «Тихого Дона» М. Шолохова. Григорий Мелехов скорбно думает о том, что теперь, после его участия в смертных боях, будет «трудно ему, целуя ребенка, открыто глянуть в ясные глаза».

Писатели, естественно каждый по-своему, стремятся уберечь людей от утери взаимопонимания, утраты важнейших свойств человеческой души. Речь идет о сохранении вечных общечеловеческих ценностей.

Герои «Белой гвардии» М. Булгакова не похожи на Григория Мелехова и конармейцев Бабеля. В этом романе совсем в другой «палитре», но тоже упорно и непоколебимо отстаивают высокие вечные качества, свойственные человеку: мужественное умение в тяжелейшей борьбе сохранить достоинство и честь, верность своим идеалам в противовес трусости, моральной неразборчивости и предательству. Не случайно образ звездного неба здесь становится символом, возникающим в самом начале и не раз повторяющимся в повествовании о Турбинах. Жизнь, поступки людей как бы поверяются свыше. И завершается роман призывом к людям обратить свой взгляд к звездам. «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»

За всеми этими примерами, которые можно множить и множить, открываются художественные достижения, составляющие огромное богатство нашей литературы – сложной, противоречивой и разнообразной, как сама жизнь.

И. Дубровина

Разгром



I. Морозка



Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце.

Ординарец Морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес.

– Свезешь в отряд Шалдыбы, – сказал Левинсон, протягивая пакет. – На словах передай... впрочем, не надо – там все написано.

Морозка недовольно отвернул голову, заиграл плеткой – ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего – нездешние глаза Левинсона; глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неизвестно.

«Жулик», – подумал ординарец, обидчиво хлопая веками.

– Чего же ты стоишь? – рассердился Левинсон.

– Да что, товарищ командир, как куда ехать, сейчас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет...

Морозка нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальной: обычно называл просто по фамилии.

– Может быть, мне самому съездить, а? – спросил Левинсон едко.

– Зачем самому? Народу сколько угодно...

Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности.

– Иди сдай оружие начхозу, – сказал он с убийственным спокойствием, – и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо...

Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики.

– Обожди, – сказал Морозка угрюмо. – Давай письмо.

Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе, пояснил:

– Уйти из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать – тем паче. – Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом закончил: – Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..

– То-то и есть, – засмеялся командир, – а сначала кобенился... балда!..

Морозка притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал:

– Я, брат, уже совсем к Варюхе в лазарет снарядился, а ты тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть...

Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе его – даже теперь, когда он говорил о жене, – скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки.

– Тимоша! – крикнул Левинсон осоловелому парнишке на крыльце. – Иди овес покарауль: Морозка уезжает.

У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами.

– Ты что, опять в отъезд? – спросил подрывник.

– Так точно, ваше подрывательское степенство!..

Морозка вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту.

– Вольно, – снисходительно сказал Гончаренко, – сам таким дураком был. По какому делу посылают?

– А так, по плевому; промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь.

– Дурак... – пробурчал подрывник, откусывая дратву, – трепло сучанское.

Морозка вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив.

– Мишка-а... у-у... Сатана-а... – любовно ворчал Морозка, затягивая подпругу. – Мишка... у-у... Божья скотинка...

– Ежли прикинуть, кто из вас умнее, – серьезно сказал подрывник, – так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

Морозка рысью выехал за поскотину.

Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки Сихотэ-Алинского хребта.

Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его – обиженный своим богом и людьми сучанский дед – еще пахал землю; отец променял чернозем на уголь.

Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену.

– Сын?.. – переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто другой.

– Значит, четвертый... – подытожил отец покорно. – Веселая жизнь...

Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу.

В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на Сучанском руднике было не меньше, чем копров.

В ста саженьях от шахты кончалась падь и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по нескончаемым рельсам ползли день за днем груженные углем дековильки на станцию Кангауз. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения, наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошено затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели «кукушки», гудели электрические подъемники.

Жизнь действительно была веселой.

В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел песни.

На обратном пути «шахтерские» крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили тайгу, ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость.

Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, пропахнувший онучами и клопами полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам и никто ее не выкачивал.

Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость: надеясь пристращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майхинскими спиртоносами, Морозка рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал.

Когда пришло время, уехал на фронт – попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все кавалеристы, смотреть на «пешую кобылку», шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции.

А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй, гулящей и бесплодной откатчице из шахты № 1. Он все делал необдуманно: жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов.

Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в восемнадцатом году защищать советы.

Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан: советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят.

Мишка сердито цокал коваными копытцами; оранжевые пауты назойливо жужжали над ухом, путались в мохнатой шерсти, искусывая до крови.

Морозка выехал на Свягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка, там стоял отряд Шалдыбы.

В-з-з... вв-з-з... – жарко пели неугомонные пауты.

Странный, лопающийся звук тряхнул и прокатился за холмом. За ним – другой, третий... Будто сорвавшийся с цепи зверь ломал на стреме колючий кустарник.

– Обожди, – сказал Морозка чуть слышно, натянув поводья.

Мишка послушно оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом.

– Слышишь?.. Стреляют!.. – выпрямляясь, возбужденно забормотал ординарец. – Стреляют!.. Да?..

Та-та-та... – залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное ухање бердан, округло-четкий плач японских карабинов.

– В карьер!.. – закричал Морозка тугим взволнованным голосом.

Носки привычно впились в стремена, дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопающий кустарник.

Не выезжая на гребень, Морозка осадил лошадь.

– Обожди здесь, – сказал, соскакивая на землю и забрасывая повод на луку седла: Мишка – верный раб – не нуждался в привязи.

Морозка ползком взобрался на вершину. Справа, миновав Крыловку, правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышами на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по златоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба (Морозка узнал его по вороному коню и островерхой барсучьей папахе) хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики.

– Сволочи, что делают, что только делают... – все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозка.

В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит – несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное.

Люди прибавляли ходу, оставив его позади, не оглядываясь.

– Сволочи, и что только делают! – снова сказал Морозка, нервно впиваясь пальцами в потный карабин.

– Мишка, сюда!.. – крикнул он вдруг не своим голосом.

Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину.

Через несколько секунд, распластавшись, как птица, Морозка летел по ячменному полю. Злобно зыкали над головой свинцово-огненные пауты, падала куда-то в пропасть лошадиная спина, стремглав свистел под ногами ячмень.

– Ложись!.. – крикнул Морозка, перебрасывая повод на одну сторону и бешено прищпоривая жеребца одной ногой.

Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой стонущей фигуры с белой, окрашенной кровью повязкой на голове.

– Ложись... – хрипел Морозка, раздирая удилом лошадиные губы.

Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю.

– Больно, ой... бо-больно!.. – стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови.

– Молчи, зануда!.. – прошептал Морозка.

Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма к деревушке, где стоял отряд Левинсона.



II. Мечик



Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.

Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком.

– Желторотый... – насмешливо процедил ординарец, когда бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца. – Немного царапнули, а он и размяк.

Морозке хотелось сказать что-нибудь очень обидное, но он не находил слов.

– Известно, сопливый... – бурчал он недовольным голосом.

– Не трепись, – перебил Левинсон сурово. – Бакланов!.. Ночью отвезете парня в лазарет.

Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака нашли немного денег, документы (звать – Павлом Мечиком), сверток с письмами и женской фотографической карточкой.

Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей по очереди исследовали нежное, в светлых кудряшках, девичье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Раненый лежал без памяти, с застывшими бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу.

Он не слышал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темень, тянуло свежим и крепким, как бы настоящим на спирту, запахом хвои и прелого листа.

Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забыть.

Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнувшийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура.

Первое, что охватило Мечика, – что исходило от этой спокойной фигуры – от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых смуглых рук, – было чувство какой-то бесцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности.

– Где я? – тихо спросил Мечик.

Высокий, негнувшийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую, жесткую ладонь, пощупал пульс.

– Сойдет... – сказал он спокойно. – Варя, приготовьте все для перевязки да кликните Харченко... – Помолчал немного и неизвестно для чего добавил: – Уж заодно.

Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул.

Было очень больно, когда в засохшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал.

– Вот и хорошо, – сказал высокий мужчина, кончая перевязку. – Три дырки настоящих, а в голову – так, царапина. Через месяц зарастут, или я – не Сташинский. – Он несколько оживился, быстрее зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый – однообразно мигал.

Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг.

Какие-то люди сутились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись на посошок, добродушно глядел на все светлородый и тихий старичок в халате.

Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанная смоляными запахами, плыла сытая таежная тишина.

Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно представлял себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький городской мотивчик, – в каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения.

Люди в сопках (знакомые только по газетам) вставали перед глазами как живые – в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения, от томительно-сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках.

Она, наверно, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться...

У самой Крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес.

– Кто такой? – спросил остролицый парень в матросской фуражке.

– Да вот... послан из города...

– Документы?

Пришлось разуться и достать путевку.

– «...При... морской... областной комитет... со-ци-лис-тов... ре-лю-ци-не-ров...» – читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечика колючие, как бодяки, глаза. – Так... – протянул неопределенно.

И вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом:

– Как же ты, паскуда...

– Что? Что?.. – растерялся Мечик. – Да ведь это же – «максималистов»... Прочтите, товарищ!

– Обыска-ать!..

Через несколько минут Мечик – избитый и обезоруженный – стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе, с черными глазами, прожигающими до пяток.

– Они не разобрали... – говорил Мечик, нервно всхлипывая и заикаясь. – Ведь там же написано – «максималистов»... Обратите внимание, пожалуйста...

– А ну, дай бумагу.

Человек в барсучьей папахе уставился на путевку.

Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса.

– Дурак... – сказал сурово. – Не видишь: «максималистов»...

– Ну да, ну вот! – воскликнул Мечик обрадованно. – Ведь я же говорил – максималистов! Ведь это же совсем другое...

– Выходит, зря били... – разочарованно сказал матрос. – Чудеса!

В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда.

Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу – над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом.

Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди.

Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной, болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную таежную тишину.

Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклены, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых – двое: сучанский партизан Фролов, раненный в живот, и Мечик.

Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлоробый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину: в невозмутимой тишине, у древнего, поросшего мхом скита сидит над озером, на изумрудном берегу, светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Тихое небо над старичком, тихие, в жаркой истоме, ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина...

Не об этом ли сне тоскует у Мечика душа?

Напевным голосом, как деревенский дьячок, Пика рассказывал о сыне – бывшем красногвардейце.

– Да-а... Приходит это он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались – дело понятное. Вижу только, сумный он штой-то... «Я, говорит, батя, в Читку уезжаю». – «Почему такое?..» – «Да там, говорит, батя, чехословаки объявились». – «Ну-к что ж, говорю, чехословаки? Живи здесь; смотри, говорю, благодать-то какая?..» И верно: на пасеке у меня – только што не рай: березка, знаишь, липа в цвету, пчелки... в-ж-ж... в-ж-ж...



Пика снимал с головы мягкую черную шапчонку и радостно поводил ею вокруг.

– И что ж ты скажешь?.. Не остался! Так и не остался... Уехал... Теперь и пасеку «колчаки» разгромили, и сына нема... Вот – жизнь!

Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри жест.

Но еще больше любил он, когда приходила «милосердная сестра». Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на

нее земными глазами. Она была немножко сутула и бледна, а руки ее излишне велики для женщины. Но ходила она какой-то особенной, неплавной, сильной походкой, и голос ее всегда что-то обещал.

И когда она садилась рядом на кровать, Мечик уже не мог лежать спокойно. (Он никогда бы не сознался в этом девушке в светлых кудряшках.)

Утром как-то, после перевязки, она задержалась, оправляя Мечику постель.

– Посиди со мной... – сказал он, краснея.

Она посмотрела на него долго и внимательно, однако, оправив постель, присела рядом.

Мечик вынул из-под подушки небольшой сверток в газетной бумаге. С поблекшей фотографии глянуло на него знакомое девичье лицо, но оно не показалось ему таким милым, как раньше, – оно смотрело с чужой и деланной веселостью, и хотя Мечик боялся сознаться в этом, но ему странно стало, как мог он раньше так много думать о ней. Он еще не знал, зачем это делает и хорошо ли это, когда протягивал сестре портрет девушки в светлых кудряшках.

Сестра рассматривала его – сначала вблизи, потом отставив руку, и вдруг, выронив портрет, вскрикнула, вскочила с постели и быстро оглянулась назад.

– Хороша чертовка! – сказал из-за клена чей-то насмешливый хрипловатый голос.

Мечик покосился в ту сторону и увидел странно знакомое лицо с ржавым непослушным чубом из-под фуражки и с насмешливыми зелено-карими глазами, у которых было тогда другое выражение.

– Ну, чего испугалась? – спокойно продолжал хрипловатый голос. – Это я не на тебя – на патрет... А я вот патретов не имею. Может, ты мне когда подаришь?..

Варя пришла в себя и засмеялась.

– Ну и напугал... – сказала не своим – певучим бабьим голосом. – Откуда это тебя, черта патлатого... – И обращаясь к Мечику: – Это – Морозка, муж мой. Всегда что-нибудь устроит.

– Да мы с ним знакомы... трошки, – сказал ординарец, с усмешкой отневив слово «трошки».

Мечик лежал как пришибленный, не находя слов от стыда и обиды. Варя уже забыла про карточку и, разговаривая с мужем, наступила на нее ногой. Мечику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли.

А когда они ушли в тайгу, он, стиснув зубы от боли в ногах, сам достал вмятый в землю портрет и изорвал его в клочки.



III. Шестое чувство



Морозка и Варя вернулись за полдень, не глядя друг на друга, усталые и ленивые.

Морозка вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, как в сказке, вылетел из чащи курчавый, звонкокопытый жеребец, Мечик вспомнил, где он видал обоих.

– Михрютка-а... сукин сы-ын... заждался? – ласково ворчал ординарец.

Проезжая мимо Мечика, он посмотрел на него с хитроватой усмешкой.

Потом, ныряя по косограм в тенистой зелени балок, Морозка еще не раз вспоминал о Мечике. «И зачем только идут такие до нас? – думал он с досадой и недоумением. – Когда зачинали, никого не было, а теперь на готовенькое – идут...» Ему казалось, что Мечик действительно пришел «на готовенькое», хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди. «Придет эдакой шпендрик – размякнет, нагадит, а нам расхлебывай... И что в нем дура моя нашла?»

Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать дорогу.

В думах, непривычно тяжелых, Морозка не заметил, как выехал в долину. Там – в душистом пырее, в диком, кудрявом клевере звенели косы, плыл над людьми прилежный работяга-день. У людей были курчавые, как клевер, бороды, потные и длинные, до колен, рубахи. Они шагали по прокосам размеренным, приседающим шагом, и травы шумно ложились у ног, пахучие и ленивые.

Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смотрели вслед.

– Как свечечка!.. – восхищались они Морозкиной посадкой, когда, приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке выпрямленным корпусом, он плавно шел на рысях, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи.

За излучиной реки, у баштанов сельского председателя Хомы Рябца, Морозка придержал коня. Над баштанами не чувствовалось заботливого хозяйского глаза: когда хозяин занят общественными делами, баштаны зарастают травой, сгнивает дедовский курень, пузатые дыни с трудом вызревают в духовитой полыни и пугало над баштанами похоже на сдыхающую птицу.

Воровато оглядевшись по сторонам, Морозка свернул к покосившемуся куреню. Осторожно заглянул вовнутрь. Там никого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный обломок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок, Морозка соскочил с лошади и, пригибаясь к земле, пополз по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок, некоторые тут же съедал, разламывая на колене.

Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, понимающим взглядом, как вдруг, заслышав шорох, поднял лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из ивняка вылез на берег длиннородый, ширококостный старик в полотняных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с трудом удерживал в руках ходивший ходуном нерет, где громадный плоскожабрый таймень в муках бился предсмертным биением. С нерета холодными струйками стекала на полотняные штаны, на крепкие босые ступни разбавленная водой малиновая кровь.

В рослой фигуре Хомы Егоровича Рябца Мишка узнал хозяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой, отделенный дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной конюшне. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув голову, глупо и радостно заржал.

Морозка испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении, держась обеими руками за мешок.

– Что же ты... делаешь?.. – с обидой и дрожью в голосе сказал Рябец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом.

Он не выпускал из рук туго вздрагивающий нерет, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных, вскипающих слов.

Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось никаких улик. Но, поняв, что уже теперь все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным, сумасшедшим карьером.

– Обожди-и, найдем мы на тебя управу... найдем!.. найдем!.. – кричал Рябец, навалившись на одно слово и все еще не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и одевал, как сына, обкрадывает его баштаны, да еще в такое время, когда они зарастают травой оттого, что их хозяин работает для мира.

В садике у Рябца, разложив в тени, на круглом столике, подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернувшегося разведчика.

Разведчик – в стеганом мужицком надеване и в лаптях – побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, оженное солнцем лицо горело радостным возбуждением только что миновавшей опасности.

По словам разведчика, главный японский штаб стоял в Яковлевке. Две роты из Спасск-Приморска передвинулись в Сандагоу, зато Свягинская ветка была очищена, и до Шабановского Ключа разведчик ехал на поезде вместе с двумя вооруженными партизанами из отряда Шалдыбы.

– А куда Шалдыба отступил?

– На корейские хутора...

Разведчик попытался найти их на карте, но это было не так легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределенно ткнул пальцем в соседний уезд.

– У Крыловки их здорово потрепали, – продолжал он бойко, шмыгая носом. – Теперь половина ребят разбрелась по деревням, а Шалдыба сидит в корейском зимовье и жрет чумизу. Говорят, пьет здорово. Свихнулся вовсе.

Левинсон сопоставил новые данные с теми, что сообщил вчера даубихинский спиртонос Стыркша, и с теми, что присланы были из города. Чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части – шестое чутье, как у летучей мыши.

Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское председатель кооператива вторую неделю не возвращался домой, и в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько сандагоуских крестьян, неожиданно загрустивших по дому, и в том, что хромоногий хунхуз Ли-Фу, державший с отрядом путь на Уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям Фудзина.

Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи – непобедимой мудростью многих поколений.

– Ну, а чего-нибудь особенного... не чувствовалось?

Разведчик смотрел, не понимая.

– Нюхом, нюхом!.. – пояснил Левинсон, собирая пальцы в щепотку и быстро поднося их к носу.

– Ничего не унюхал... Уж как есть... – виновато сказал разведчик. «Что я – собака, что ли?» – подумал он с обидным недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как у торговки на сандагоуском базаре.

– Ну, ступай... – махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза.

Один он в задумчивости прошелся по саду, остановившись у яблони, долго наблюдал, как возится в коре крепкоголовой песочного цвета жучок, и какими-то неведомыми путями пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят японцы, если к этому не подготовиться заранее.

У калитки Левинсон столкнулся с Рябцом и своим помощником Баклановым – коренастым парнишкой лет девятнадцати, в суконной защитной гимнастерке и с недремлющим кольцом у пояса.

– Что делать с Морозкой?.. – с места выпалил Бакланов, собирая над переносом тугие складки бровей и гневно выбрасывая из-под них горящие, как угли, глаза. – Дыни у Рябца крал... вот, пожалуйста!..

Он с поклоном повел руками от командира к Рябцу, словно предлагал им познакомиться. Левинсон давно не видал помощника в таком возбуждении.

– А ты не кричи, – сказал он спокойно и убедительно, – кричать не нужно. В чем дело?..

Рябец трясущимися руками протянул злополучный мешок.

– Полбаштана изгадил, товарищ командир, истинная правда! Я, знаешь, нерета проверял – в кои веки собрался, – когда вылезая с ивнячка...

И он пространно изложил свою обиду, особенно напирая на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство.

– Бабы у меня, знаешь, заместо того, чтоб баштаны выполоть, как это у людей ведется, на покосе маются. Как проклятые!..

Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал за Морозкой.

Тот явился с небрежно заломленной на затылок фуражкой и с неприступно-наглым выражением, которое всегда напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал врать и защищаться до последней крайности.

– Твой мешок? – спросил командир, сразу вовлекая Морозку в орбиту своих немутнеющих глаз.

– Мой...

– Бакланов, возьми-ка у него смит...

– Как возьми?.. Ты мне его давал?! – Морозка отскочил в сторону и расстегнул кобуру.

– Не балуй, не балуй... – с суровой сдержанностью сказал Бакланов, туже сбирая складки над переносьем.

Оставшись без оружия, Морозка сразу размяк.

– Ну, сколько я там дынь этих взял?.. И что это вы, Хома Егорыч, на самом деле. Ну, ведь сущий же пустяк... на самом деле!

Рябец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми пальцами запыленных ног.

Левинсон распорядился, чтоб к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.

– Пускай все узнают...

– Иосиф Абрамыч... – заговорил Морозка глухим, потемневшим голосом. – Ну, пушай – отряд... уж все равно. А мужиков зачем?

– Слушай, дорогой, – сказал Левинсон, обращаясь к Рябцу и не замечая Морозки, – у меня дело к тебе... с глазу на глаз.

Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, попросил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и засушить пудов десять сухарей.

– Только смотри, чтоб никто не знал – зачем сухари и для кого.

Морозка понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в караульное помещение.

Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию овса:

– Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку.



IV. Один



Приезд Морозки нарушил душевное равновесие, установившееся в Мечике под влиянием ровной, безмятежной жизни в госпитале.

«Почему он смотрел так пренебрежительно? – подумал Мечик, когда ординарец уехал. – Пусть он вытащил меня из огня, разве это дает право насмехаться?.. И все, главное... все...» Он посмотрел на свои тонкие, исхудавшие пальцы, ноги под одеялом, скованные лубками, и старые, загнанные внутри обиды вспыхнули в нем с новой силой, и душа его сжалась в смятении и боли.

С той самой поры, как остролицый парень с колючими, как бодяки, глазами враждебно и жестоко схватил его за воротник, каждый шел к Мечику с насмешкой, а не с помощью, никто не хотел разбираться в его обидах. Даже в госпитале, где таежная тишина дышала любовью и миром, люди ласкали его только потому, что в этом состояла их обязанность. И самым тяжелым, самым горьким для Мечика было чувствовать себя одиноким после того, как и его кровь осталась где-то на ячменном поле.

Его потянуло к Пике, но старик, расстелив халат, мирно спал под деревом на опушке, подложив под голову мягкую шапчонку. От круглой, блестящей лысинки расходились во все стороны, как сияние, прозрачные серебряные волосики. Двое парней – один с перевязанной рукой, другой, прихрамывая на ногу, – вышли из тайги. Остановившись около старика, жуликовато перемигнулись. Хромой отыскал соломинку и, приподняв брови и сморщившись, словно сам собирался чихнуть, пощекотал ею в Пикином носу. Пика сонно заворчал, поерзал носом, несколько раз отмахнулся рукой, наконец громко чихнул к всеобщему удовольствию. Оба прыснули со смеха и, пригибаясь к земле, оглядываясь, как нашкодившие ребята, побежали к бараку – один бережно поджимая руку, другой – воровато припадая на ногу.

А из-под клена, с койки, с высоты четырех матрацев, уставив в небо желтое, изнуренное болезнью лицо, чуждо и строго смотрел раненый партизан Фролов. Взгляд его был тускл и пуст, как у мертвого. Рана Фролова была безнадежна, и он сам знал это с той минуты, когда,

корчась от смертельной боли в животе, впервые увидел в собственных глазах бесплотное, опрокинутое небо. Мечик почувствовал на себе его неподвижный взгляд и, вздрогнув, испуганно отвел глаза.

– Ребята... шкодят... – хрипло сказал Фролов и пошевелил пальцем, будто хотел доказать кому-то, что еще жив.

Мечик сделал вид, что не слышит.

И хотя Фролов давно забыл про него, он долго боялся посмотреть в его сторону – казалось, раненый все еще глядит, очерясь в костлявой, обтянутой улыбке.

Из барака, неловко сломившись в дверях, вышел доктор Сташинский. Сразу выпрямился, как длинный складной ножик, и стало странным, как это он мог согнуться, когда вылезал. Он большими шагами подошел к ребятам и, забыв, зачем они понадобились, удивленно остановился, мигая одним глазом.

– Жара... – буркнул наконец, складывая руку и проводя ею по стриженной голове против волос. – Скучно лежать? – спросил он Мечика, подходя к нему и опуская ему на лоб сухую, горячую ладонь.

Мечика тронуло его неожиданное участие.

– Мне – что?.. поправился и пошел, – встрепенулся Мечик, – а вот вам как?.. Вечно в лесу.

– А если надо?..

– Что надо?.. – не понял Мечик.

– Да в лесу мне быть... – Сташинский принял руку и впервые с человеческим любопытством посмотрел Мечiku прямо в глаза своими – блестящими и черными. Они смотрели как-то издали и тоскливо, будто вобрали всю бессловесную тоску по людям, что долгими ночами гложет таежных одиночек у чадных сихотэ-алинских костров.

– Я понимаю, – грустно сказал Мечик и улыбнулся так же приветливо и грустно. – А разве нельзя было в деревне устроиться?.. То есть не то что вам лично, – перехватил он недоуменный вопрос, – а госпиталь в деревне?

– Безопасней здесь... А вы сами откуда?

– Я из города.

– Давно?

– Да уж больше месяца.

– Крайзельмана знаете? – оживился Сташинский.

– Знаю немножко...

– Ну, как он там? А еще кого знаете? – Доктор сильнее замигал глазом и так внезапно опустил на пенек, словно его сзади ударили под коленки.

– Вонсика знаю, Ефремова... – начал перечислять Мечик. – Гурьева, Френкеля – не того, что в очках, – с тем я незнаком, – а маленького...

– Да ведь это же все «максималисты»?! – удивился Сташинский. – Откуда вы их знаете?

– Так ведь я все с ними больше... – неуверенно пробормотал Мечик, почему-то робея. «А-а...» – хотел сказать как будто Сташинский и не сказал.

– Хорошее дело, – буркнул сухо, каким-то почужевшим голосом и встал. – Ну-ну... поправляйтесь... – сказал, не глядя на Мечика. И, как бы боясь, что тот позовет его обратно, быстро зашагал к бараку.

– Васютину еще знаю!.. – пытаюсь за что-то ухватиться, прокричал Мечик вслед.

– Да... да... – несколько раз повторил Сташинский, полуоглядываясь и учащая шаги.

Мечик понял, что чем-то не угодил ему, – сжался и покраснел.

Вдруг все переживания последнего месяца хлынули на него разом, – он еще раз попытался за что-то ухватиться и не смог. Губы его дрогнули, и он заморгал быстро-быстро, удерживая слезы, но они не послушались и потекли, крупные и частые, расплываясь по лицу.

Он с головой закрылся одеялом и, не сдерживаясь больше, заплакал тихо-тихо, стараясь не дрожать и не всхлипывать, чтобы никто не заметил его слабости.

Он плакал долго и безутешно, и мысли его, как слезы, были солонны и терпки. Потом, успокоившись, он так и остался лежать неподвижно, с закрытой головой. Несколько раз подходила Варя. Он хорошо знал ее сильную поступь, будто до самой смерти сестра обязалась толкать перед собой нагруженный вагончик. Нерешительно постояв возле койки, она снова уходила. Потом приковылял Пика.

– Спишь? – спросил внятно и ласково.

Мечик притворился спящим. Пика выждал немного. Слышно было, как поют на одеяле вечерние комары.

– Ну, спи...

Когда стемнело, снова подошли двое – Варя и еще кто-то. Бережно приподняв койку, понесли ее в барак. Там было жарко и сыро.

– Иди... иди за Фроловым... я сейчас приду, – сказала Варя.

Она несколько секунд постояла над койкой и, осторожно приподняв с головы одеяло, спросила:

– Ты что это, Павлуша?.. Плохо тебе?..

Она первый раз назвала его Павлушей.

Мечик не мог разглядеть ее в темноте, но чувствовал ее присутствие так же, как и то, что они только вдвоем в бараке.

– Плохо... – сказал он сумрачно и тихо.

– Ноги болят?..

– Нет, так себе...

Она быстро нагнулась и, крепко прижавшись к нему большой и мягкой грудью, поцеловала его в губы.



V. Мужики и «угольное племя»



Желая проверить свои предположения, Левинсон пошел на собрание заблаговременно – потереться среди мужиков, нет ли каких слухов.

Сход собирался в школе. Народу было еще немного: несколько человек, рано вернувшихся с поля, сумерничали на крыльце. Через раскрытые двери видно было, как Рябец возится в комнате с лампой, прилаживая закопченное стекло.

– Осипу Абрамычу, – почтительно кланялись мужики, по очереди протягивая Левинсону темные, одеревеневшие от работы пальцы. Он поздоровался с каждым и скромно уселся на ступеньке.

За рекой разноголосо пели девчата; пахло сеном, отсыревающей пылью и дымом костров. Слышно было, как бьются на пароме усталые лошади. В теплой вечерней мгле, в скрипе нагруженных телег, в протяжном мычании сытых недоеных коров угасал мужичий маелтый день.

– Маловато чтой-то, – сказал Рябец, выходя на крыльцо. – Да многих и не соберешь седни, на покосе ночуют многие...

– А сход на что в буден день? Аль срочное что?

– Да есть тут одно дельце... – замялся председатель. – Набузил тут один ихний, – у меня живет. Оно, как бы сказать, и пустяки, а цельная канитель получилась... – Он смущенно посмотрел на Левинсона и замолчал.

– А коли пустое, так и не след бы собирать!.. – разом загалдели мужики. – Время такое – мужику каждый час дорог.

Левинсон объяснил. Тогда они наперебой стали выкладывать свои крестьянские жалобы, вертевшиеся больше вокруг покоса и бестоварья.

– Ты бы, Осип Абрамыч, прошелся как-нибудь по покосам, посмотрел, чем косят люди? Целых кос ни у кого, хочь бы одна для смеху, – все латаные. Не работа – маета.

– Семен надьсь какую загубил! Ему бы все скорей, – жадный мужик до дела, – идет по покосу, сопит, ровно машина, в кочку ка-ак... звезданет!.. Теперь уж, сколько ни чини, не то.

– Добрая «литовка» была!..

– Мои-то – как там?.. – задумчиво сказал Рябец. – Управились, чи не? Трава нонче богатая – хотя б к воскресенью летошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта.

В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в длинных грязно-белых рубахах, некоторые с узелками – прямо с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, запахи дегтя и пота и свежескошенных трав.

– Здравствуйте в вашу хату...

– Хо-хо-хо!.. Иван?.. А ну, кажи морду на свет – здорово чмели покусали? Видал я, как ты бежал от их, задницей дрыгал...

– Ты чего ж это, зараза, мой клин скосил?

– Как твой! Не бреши!.. Я – по межу, тютилька в тютильку. Нам чужого не надьть – своего хватает...

– Знаем мы вас... Хвата-ет! Свиной ваших с огорода не сгонишь... Скоро на моем баштане пороситься будут... Хвата-ет!..

Кто-то, высокий, сутулый и жесткий, с одним блестящим во тьме глазом, вырос над толпой, сказал:

– Японец третьего дня в Сундугу пришел. Чугуевские ребята баяли. Пришел, занял школу – и сразу по бабам: «Руськи барысня, руськи барысня... сю-сю-сю». Тьфу, прости Господи!.. – оборвал он с ненавистью, резко рванув рукой наотмашь, словно отрубая.

– Он и до нас дойдет, это уж как пить...

– И откуда напасть такая?

– Нету мужику покою...

– И все-то на мужике, и все-то на ем! Хотя б уж на что одно вышло...

– Главная вещь – и выходов никаких! Хучь так в могилу, хучь так в гроб – одна дистанция!..

Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид – весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но, вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные, ему одному тревожные нотки.

«Плохо дело, – думал он сосредоточенно, – совсем худо... Надо завтра же написать Сташинскому, чтобы рассовывал раненых, куда можно... Замереть на время, будто и нет нас, караулы усилить...»

– Бакланов! – окликнул он помощника. – Иди-ка сюда на минутку... Дело вот какое... садись поближе. Думаю я, мало нам одного часового у поскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки... ночью особенно... Уж больно беспечны мы стали.

– А что? – встрепенулся Бакланов. – Разве тревожно что?.. или что? – Он повернул к Левинсону бритую голову, и глаза его, косые и узкие, как у татарина, смотрели настороженно, пыгливо.

– На войне, милый, всегда тревожно, – сказал Левинсон ласково и ядовито. – На войне, дорогой, это не то, что с Марусей на сеновале... – Он засмеялся вдруг дробно и весело и ущипнул Бакланова в бок.



– Ишь ты, какой умный... – заговорил Бакланов, схватив Левинсона за руку и сразу превращаясь в драчливого, веселого и добродушного парня. – Не дрыгай, не дрыгай – все равно не вырвешься!.. – ласково ворчал он сквозь зубы, скручивая Левинсону руки назад и незаметно прижимая его к колонке крыльца.

– Иди, иди – вон Маруся зовет... – хитрил Левинсон. – Да пусти ты, ч-черт!.. неудобно на сходке...

– Только что неудобно, а то бы я тебе показал...

– Иди, иди... вон она, Маруся-то... иди!

– Дозорного, я думаю, одного? – спросил Бакланов, вставая.

Левинсон с улыбкой смотрел ему вслед.

– Геройский у тебя помощник, – сказал кто-то. – Не пьет, не курит, а главное дело – молодой. Заходит третьеводни в избу, хомута разжаться... «Что ж, говорю, не хочешь ли рюмашечку с перчиком?» – «Нет, говорит, не пью. Уж ежели, говорит, угостить думаешь, молочка давай – молочко, говорит, люблю, это верно». А пьет он его, знаешь, ровно малый ребенок – с мисочки – и хлебец крошит... Боевой парень, одно слово!..

В толпе, поблескивая ружейными дулами, все чаще мелькали фигуры партизан. Ребята сходились к сроку, дружно. Пришли наконец шахтеры во главе с Тимофеем Дубовым, рослым забойщиком с Сучана, теперь взводным командиром. Они так и влились в толпу отдельной, дружной массой, не растворяясь, только Морозка сумрачно сел поодаль на завалинке.

– А-а... и ты здесь? – заметив Левинсона, обрадованно загудел Дубов, будто не видел его много лет и никак не ожидал здесь встретить. – Что это там корышок наш набузил? – спросил он медленно и густо, протягивая Левинсону большую черную руку. – Прочитать, прочитайте... чтоб другим неповадно было!.. – загудел снова, не дослушав объяснений Левинсона.

– На этого Морозку давно уж пора обратить внимание – пятно на весь отряд кладет, – ввернул сладкоголосый парень, по прозвищу Чиж, в студенческой фуражке и чищенных сапогах.

– Тебя не спросили! – не глядя, обрезал Дубов.

Парень поджал было губы обидчиво и достойно, но, поймав на себе насмешливый взгляд Левинсона, юркнул в толпу.

– Видал гуся? – мрачно спросил взводный. – Зачем ты его держишь?.. По слухам, его самого за кражу с института выгнали.

– Не всякому слуху верь, – сказал Левинсон.

– Уж заходили бы, что ли ча!.. – взывал с крыльца Рябец, растерянно разводя руками, словно не ожидал, что его заросший баштан породит такое скопление народа. – Уж начинали бы... товарищ командир?.. До петухов нам толочься тут...

В комнате стало жарко и зелено от дыма. Скамеек не хватало. Мужики и партизаны попеременно забили проходы, столпились в дверях, дышали Левинсону в затылок.

– Начинай, Осип Абрамыч, – угрюмо сказал Рябец. Он был недоволен и собой и командиром – вся история казалась теперь никчемной и хлопотной.

Морозка протискался в дверях и стал рядом с Дубовым, сумрачный и злой.

Левинсон больше упирал на то, что никогда бы не стал отрывать мужиков от работы, если бы не считал, что дело это общее, затронуты обе стороны, а кроме того, в отряде много местных.

– Как вы решите, так и будет, – закончил он веско, подражая мужичьей степенной повадке. Медленно опустился на скамью, просунул назад и сразу стал маленьким и незаметным – сгас, как фитилек, оставив сход в темноте самому решать дело.

Заговорили сначала несколько человек туманно и нетвердо, путаясь в мелочах, потом ввязались другие. Через несколько минут уж ничего нельзя было понять. Говорили больше мужики, партизаны молчали глухо и выжидающе.

– Тоже и это не порядок, – строго бубнил дед Евстафий, седой и насупистый, как летошний мох. – В старое время, при Миколашке, за такие дела по селу водили. Обвешают краденым и водют, под сковородную музыку!.. – Он наставительно грозил кому-то высохшим пальцем.

– А ты по-миколашкину не меряй!.. – кричал сутулый и одноглазый – тот, что рассказывал о японцах. Ему все время хотелось размахивать руками, но было слишком тесно, и от этого он пуше злился. – Тебе бы все Миколашку!.. Отошло времечко... тью-тью, не воротишь!..

– Да уж Миколашку не Миколашку, а только и это не право, – не сдавался дед. – И так всю шатию кормим. А воров плодить нам тоже не сподручно.

– Кто говорит – плодить? Никто за воров не чепляется! Воров, может, ты сам разводишь!.. – намекнул одноглазый на дедова сына, бесследно пропавшего лет десять тому назад. – Только тут своя мерка нужна! Парень, может, шестой год воюет, – неужто и дынькой не побаловаться?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.